



ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Валентина Ивановна Кострица родилась в бывшей казачьей станице Павловской (ныне село Нижняя Павловка Оренбургской области). Окончила математический факультет Оренбургского государственного педагогического института. Более сорока лет проработала в Оренбургском медицинском училище (ныне колледже). Почётный работник среднего профессионального образования. Живёт снова в Нижней Павловке.

Чем дальше уходит время, тем странно ближе становятся родные, ушедшие в мир иной, чётче видишь черты лица, осмысленнее оцениваешь слова, поступки, нравочужения, советы нам, детям, и сожалеешь о том, что мы не всегда это понимали то ли по малолетству, то ли по недомыслию; о многом не расспросили и сами не утруждали себя задуматься и понять. А главное, сами-то всегда ли были готовы понять и воспринять правоту их суждений и поступков? Время упущено; всё было некогда, недосуг, да и не видели большой необходимости вести серьёзные разговоры с родителями. Они, жалея и оберегая нас, не могли посвящать детей в анализ прошедших событий жизни страны, своей жизни, да и о настоящем времени судили-рядили с осторожностью. Они знали цену слову (оно «не воробей, вылетит — не поймаешь»), а мы считали, что «сами с усами». Всё же родители воспитывали нас больше

не словом, а поступками, отношением друг к другу, трудолюбием, гостеприимством, добрыми делами. Теперь, извлекая из глубин памяти отдельные события и факты, начинаешь со щемящей болью сожалеть о многом не услышанном, непонятом, недосказанном; хочется оставить не только в своём сознании, но и в сознании теперь уже наших внуков и правнуков не только выразительные, но безмолвные фотографии, но и словесные портреты родителей, наших дедушек и бабушек, чтобы потомки имели представление о жизни прошлых родных поколений, о трудных годах, растянувшихся почти на столетие.

Наши родители: Сычёвы Иван Ефремович и Марфа Прокопьевна — ровесники революции; их детство — нужда, голод и холод, но на их долю пришлась и Великая Отечественная война. Вот об их простой, но неимоверно трудной и героической жизни мне и хочется поведать не только нашим детям, внукам и правнукам, но и читателям журнала.

Отец нашей мамы — Прокопий Акинтьевич Юров; мать — Наталья Сергеевна (в девичестве Сидельникова). Наш прадедушка Акинтий Васильевич Юров — казак, рано овдовевший, некоторое время он был старостой церкви, построенной в 1906 году на средства прихожан в родной станице Нижней Павловке (станция Павловская). Освящена она была 10 февраля 1908 года с присвоением

имени Святого Михаила Архангела. Эту красавицу церковь я помню полуразрушенной: без куполов, без окон и дверей, но с сохранившимися настенными росписями — изображениями святых и картинами на библейские темы, да с надписями, словами из известного лексикона, наследия атеистического воспитания. Туда заходили справить нужду по пути в школу за знаниями или в клуб на танцы. Весь ужас сотворённого разрушения был осмыслен, конечно, гораздо позже, а тогда об этом не думалось: воспитывались и росли атеистами. Много раз приходила мысль о том, почему и как удалось в некоторых странах сохранить храмы тысячелетней давности, а нам надо было разрушать «до основанья, а затем...», хотя есть примеры варварства и в современном мире, в XXI веке. Прости, Господи!

Отец нашей мамы, наш дедушка Прокопий Акинтьевич Юров, казак, давший присягу на верность царю и Отечеству, остался верен этой клятве. Служил во 2-м Оренбургском казачьем Воеводе Нагого полку в Варшаве. Привелось за долгие годы казачьей доли сражаться на фронтах во время Первой мировой войны. Революцию не принял ни сердцем, ни разумом. Оставаясь верным присяге, вместе с другими казаками родной станицы оказался в Белой гвардии, возглавляемой атаманом Дутовым. В гражданскую войну погиб в боях с отрядами Самуила Цвиллинга.

Лишь однажды бабушка Наталья (Нотя) рассказала, что Пронюшка прискакал во двор, но с коня не спешил. Он еле удерживал разгорячённого коня, а она с дочками подбежала к нему. Проня наклонился и поцеловал старшую дочку Нотюшку, а Марфунюшку она подняла к отцу.

— Он её и меня поцеловал, а конь так и не стоит на месте, всхрапывает.

Бабушка одной рукой вцепилась в уздечку, а другой стала, рыдая, тянуть супруга за полу шинели, умоляла его остаться, но дорогой казак сказал:

— Прости, Нотюшка! Не могу: я присягал царю и Отечеству.

И ускакал навсегда! И осталась бабушка одна с двумя дочками; незадолго до этого события она потеряла кормильца и помощника 16-летнего сына Митю и 14-летнюю дочку Сликотушку — Секлитинию; умер и свёкор Акинтий Васильевич. Как жилось вдове с малолетними детьми в казачьей станице, если супруг-белозаказ ушёл с атаманом Дутовым? Всех бед не описать. Мама, как и её старшая сестричка (тоже Наталья — Нотя), окончила только один класс. Главное, научилась буквы писать да худо-бедно читать, а дальше, повзрослев, работала в колхозе.

Мой папа, Сычёв Иван Ефремович, родился 17.12.1917 года. Он был поздним и самым младшим сыном; остался без отца, когда ему было только 4,5 года. Отец — Ефрем Иванович, казак; он



Сычёв Иван Ефремович

умер внезапно в марте 1922 года, когда после очередного набега красных семья осталась без хлеба и припасённого для посева зерна, разграбленного на хуторах. Конечно, опустошали станичников и красные, и белые; всем надо пить и есть, да и коней кормить, но особенно свирепствовали красные, так как даже в 1918 году наша станица Павловская была под белыми, а при отступлении 375 казаков ушли с атаманом Дутовым. В те страшные дни сентября 1918 года большевиками сожжены по станице Верхнепавловской 193 двора из 485, то есть около 40 % наличных строений, а по станице Нижняя Павловка из 688 дворов сгорело 446, то есть порядка 65%. 29.03.1919 года в станичный совет пришло предписание № 31 «О немедленном избрании комиссии из 3 человек на предмет конфискации, учёта и распределения

имущества бежавших сознательно с Дутовым казаков и офицеров». Теперь трудно, но всё же можно представить, какая беда и участь ожидали наших родных. Потерять всё: супруга, взрослого сына, дочку, свёкра, который бабушке Наталье был надеждой и опорой, лишиться дома, имущества. Она всегда повторяла, что Бог хранил её ради оставшихся в живых двух дочек, ведь сама, ко всем прочим мукам, переболела тифом, после чего потеряла слух, который так и не смог восстановиться полностью. С ней всегда надо было очень громко разговаривать, а потом и чуть ли не кричать в самое ухо. Дедушка Прокопий с честью погиб в бою за веру и Отечество, которому он присягал, а вот дедушка Ефрем не смог перенести разорение: не выдержало сердце казака. Как выжили в этой круговерти? Они и сами удивлялись, а бабушка Дуня (Евдокия Артемьевна, в девичестве Базарова) уверена была, что только молитва да вера помогли им остаться живыми, хотя и пухли от голода. Если сравнить положение семей наших дедушек Ефрема и Прокопия, ушедших в мир иной и оставивших малолетних в то время Ивана и Марфу, то вдове Евдокии было чуть легче: у неё, кроме маленького Ивана, были взрослые: дочь Ольга и 17-летний сын Павел. Они работали по найму у зажиточных казаков, хотя сами хозяева работали не покладая рук и ели вместе со своими батраками. Потом наступило время

коллективизации в сельском хозяйстве; трудно было, но кое-как начали из нужды выбираться. Папе удалось окончить 7 классов школы в родной Нижней Павловке. Был активным комсомольцем, ударником труда. Рассказывал, что во время сенокоса и уборки урожая успевал увозить с поля до 17 возов (подвод) сена или соломы за день. За добросовестный труд был награждён рубашкой да денежной премией и, добавив какую-то сумму, купил себе велосипед, а это в то время была завидная роскошь. А главное, появилась возможность покатать на нём понравившуюся ему голубоглазую, статную красавицу Марфушу. Настоячивый был парень; мама, смеясь, рассказывала: «Вот прячусь, прячусь от него, а он хушь где меня найдёт». Он успевал и работать ударно, и девушку завлекать чёрными глазами да новеньким велосипедом. Не раз спрашивала маму о том, почему она убегала от такого красавца: «Что ли, он тебе не нравился?» Она, опять смеясь, говорила, что и сама не знает, почему убегала, наверное, глупая была, бестолковая. А может, уже чисто женское? Пусть побегает, поищет, где это по задворкам от него спрячется с подружками милая Марфуша! Только у самой-то сердечко, лишь она увидит его, «выпрыгивало из груди»; на девичьих посиделках тайком выглядывала, не появился ли её чернобровый, и, увидев его, заливалась краской, да так, что подружки начинали смеяться, но

в знак солидарности тут же все вместе убегали. Мама говорила: «Вот убегу с подружками от него, где-нибудь переждём, а приду домой, а он у ворот сидит, дожидается». Говорил тогда: «Никогда и никуда ты, милка, от меня не убежишь». Марфуша — светленькая, румяная, белолицая красавица. Все родственники с маминой стороны, Сидельниковы — светловолосяные, даже чуть-чуть рыжеватые, точнее всего, соломенного цвета, среди Юровых были настоящие рыжие, хотя мамин отец был светло-русый. А вот паренёк с настойчивым характером, красивый, черноглазый, да ещё «зачерченский», то есть живущий за речкой, по другую сторону Донгуза, не очень приглянулся бабушке Наталье: «Уж больно жгучие чёрные глаза, да вот от него, наверно, ты, Марфунюшка, не отвяжисси; вон как пристал к тебе». Иван, недолго думая, прислал сватов, хотя свадьбы как таковой не было; просто посидели все вместе за столом, и увёл Ваня любимую Марфунюшку в свой дом. Шёл 1935 год; ещё ощутимы были последствия голода, продолжались репрессии, аресты «тройкой» ОГПУ. Само слово «тройка» подразумевало высшую меру наказания, то есть расстрел. В то время в ещё не окрепших сельхозартелях основным кадровым составом были голутвенные казаки, которых называли в ту пору «нетягами», босяками: они не умели, а иногда и не желали добросовестно работать. Когда для укрепления

колхозов нужны были добротные, опытные хозяйственники, тогда в них активно стали проводить чистки от «чуждого элемента»: как правило, это лишение избирательских прав, высылка зажиточных земледельцев в места не столь отдалённые и даже очень отдалённые. А ведь зажиточные земледельцы — это домовитые казаки: работающие, смекалистые, умеющие выращивать хлеб и выхаживать скотину, гордившиеся своим казачьим сословием и службой России; они могли стать опорой колхозного сообщества. К тому времени казаки, чудом оставшиеся в живых в годы революционных катаклизмов, «перековали мечи на орало», приступили к мирному труду. Их в первую очередь и коснулись репрессии. Бравые казаки, два родных младших брата бабушки Натальи, были арестованы одновременно и расстреляны «тройкой» ОГПУ (Сидельниковы Матвей Сергеевич и Василий Сергеевич оба реабилитированы в июне 1989 года — В.К.). Значит, время для свадеб было совсем не подходящим, но молодость брала своё; молодые поженились. Расписываться, то есть заключать законный брак, в сельский совет не пошли, а церковью к тому времени не имела на это права, да и молодой супруг был комсомольцем. Как папа позже рассказывал, на комсомольском собрании в пору активного атеизма голосовали за снятие колоколов с колоколен церкви «на нужды обороны страны».

Храм построили на средства казачьего общества в 1906 году, но уже в ту революционную пору пошло его разрушение. Много труднейших лет и событий прошло до того времени, когда наши родители стали законными супругами (1954), так что только сестрички Наташа и Люба были законно рождёнными, а я и братик Ваня, да двое деток, Миша и Анечка, умершие маленькими, были незаконнорождёнными, хотя по документам всё нормально зарегистрировано, и эта неразбериха нам не доставила неприятностей с переоформлением свидетельств о рождении. Удивительно, что папа с мамой совсем «забыли» о том, что они «не расписывались», то есть у них не было свидетельства о браке; вначале к этому отнеслись несерьёзно, потом служба в Красной армии (РККА), война 1941-1945 гг., послевоенная фильтрация папы, как военнопленного, и только при рождении дочки Наташи вдруг в сельском совете старательная секретарь обнаружила факт отсутствия законной регистрации брака наших родителей. Дом, в который Иван привёл молодую жену, был небольшой: обычная деревенская изба на 4 окна вдоль улицы. Жили в нём бабушка Дуня, то есть папина мама Евдокия Артемьевна, старший брат Павел с женой и маленьким сыном, а теперь появились молодожёны. На семейном совете решили эту проблему довольно просто: разделить дом в равных долях; два окна — Павлу с его

семьёй, другие два окна — младшему Ивану с молодой женой и 65-летней матерью. Поставили тонкую дощатую перегородку-стенку, которую бабушка называла переборкой, вот и весь раздел имущества. Самодельные лавки и табуретки — поровну. Но, как ни тяжело время, у Марфуши было приданое: довольно большой деревянный сундук, практически пустой. Насколько помню, в нём лежали мамины новые валенки, фуфайка, большая накидная шаль, а на дне две дерюжки: цветные, самотканые, очень красивые, но жёсткие. Когда они были изготовлены, не знаю, но у бабушки Натальи был ткацкий станок; она умела обрабатывать коноплю: вымачивать, выколачивать костру, получать прядильное волокно, красить, прясть и ткать. В работе этот станок я не видела, но хорошо помню, что он висел в каменке на стенке.

Мне нравилось открывать сундук; уж больно красива изнутри его крышка: она была обклеена загадочными картинками. Вспоминая об этом, я и сейчас чётко вижу яркие, как мне тогда казалось, невероятной красоты наклейки: обёртки от мыла «Кармен», «Земляничное», просто с какими-то цветочками. В своём раннем детстве никакого мыла, кроме хозяйственного да щёлочного, я не знала, и мама мне говорила, что она тоже не знает. Наверное, это дедушка Прокопий, мамин отец, которого она практически не помнила, привозил подарки

бабушке, когда приезжал на побывку. Молодому супругу досталась половина избы, как я сейчас себе представляю, площадью не более 15-16 кв. метров, с сенцами, и стали жить-поживать они вместе с бабушкой. Почти четверть избы занимала традиционная русская печь с подтопком, бабушкина деревянная, как она говорила, самодельная, кровать, а у молодых — железная, с шишечками на спинках, да стол с табуретками, вот и весь интерьер. Все вместе в одной избе. Старшему сыну пришлось прорубать дверь, пристраивать совсем небольшую кухню и сенцы. Так и жили в одном дворе два брата. Постепенно семейная жизнь налаживалась: обзавелись хозяйством (корова, овечка, пяток курочек) да в простенке повесили небольшое зеркало, которое почему-то было местами покрыто тонкой «сеточкой» в коричневых разводах. У молодых Вани и Марфы родился первенец, сын Миша, но в возрасте, видимо, полтора лет он умер. В июне 1938 года родилась я, а в сентябре того года папа был призван в Красную армию, попал в Кавалерийские войска Забайкальского военного округа и, если верно помню, служил в г. Чита. Во время службы в армии и до мая 1942 года домой регулярно приходили письма, которые мама всегда бережно хранила. Уже будучи студенткой, с разрешения мамы я эти откровения читала. Первые годы письма были адресованы его маме, нашей бабушке Дуне; видимо,

соблюдалась житейская субординация — писать на имя матери. Обычные письма об армейских буднях, приветы родным и несколько слов жене, нашей маме, с вопросами о маленькой дочке и просьбами писать ему обо всём, ибо он «ждёт привета, как соловей лета». Даже на фотографиях надписи о том, что он скучает. Вот одно из таких посвящений: «Я уехал далеко за горы, и вам не видно меня, посмотрите на моё фото и вспомните про меня». Немудрёное поэтическое послание адресовано бабушке, а в конце написано «...и Сычёвой М.П.». Как же маме хотелось услышать только к ней обращённые слова, но письма были сдержанные: главное, жив и здоров. Мама рассказывала, что она первое время расстраивалась, не показывая вида своей свекрови, потом начала сердиться: ей нужны ласковые слова, объяснения и уверения в любви, а он пишет «Сычёвой М.П.». Было им в ту пору чуть больше двадцати лет. Мама, с её «образованием в один класс и один коридор», написала любимому солдату о претензиях-пожеланиях, вероятно, чётко изложила свои мысли, потому как после этого послания стали приносить в дом по два письма: бабушке и маме. Бабушка была совсем неграмотной, поэтому письма писала и читала мама. Теперь бабушка удивлялась, что сын пишет письма отдельно, и всё спрашивала у мамы о том, что же он ей «сказывает», а мама отвечала: «Ваня пишет... что тебе, то

и мне». Некоторые письма мама отложила в сторону и не дала мне читать, сказала, что я ещё не доросла, хотя по возрасту я уже была старше, чем мама в те годы. Жаль, что, столько лет сберегая весточки от папы, мама затем доверила их сыну, нашему брату Ване, и письма были утеряны.

За время службы в армии папа окончил зооветшкола (училище — 2 года), получил специальность ветеринарного фельдшера, по документам — звание военветфельдшера. После окончания учёбы папа был направлен в 161-й Кавалерийский полк 14 Кубанской Кавалерийской дивизии и находился там до марта 1941 года, но в марте эта дивизия была расформирована. До окончания срока службы в армии оставалось ещё полгода, и папе предложили вариант: подать рапорт о согласии продолжить учёбу, но по военной специальности. В это время был объявлен набор в Краснодарское авиаучилище, и он подаёт рапорт о желании обучаться в этом учебном заведении. Рядовой солдат, имеющий специальность и звание военветфельдшера, был зачислен курсантом штурманского отделения с мая 1941 г. После окончания учёбы, получив лейтенантские звания, в марте 1942 года весь курс был передан в распоряжение (зачислен в резерв) Главного командования Крымского (позже Южного) фронта. 10-11 марта 1942 года молодые лейтенанты прибыли в Керчь на стажировку, папа был зачислен в школу среднего

командного состава, но штурманом летать не привелось. Обстановка на Крымском фронте так обострилась, что 5 мая 1942 года выпускники авиашколы были направлены на передовую линию фронта. Лейтенант Иван Сычёв стал пулемётчиком в составе пулемётной роты. Немцы наступали; рота заняла оборону в районе 18 км от Камыш-Буруна. Шли ожесточённые бои, рота продержалась до середины мая 1942 г. Под натиском немцев отступили в каменоломни, заняли оборону, но снаряды закончились, и пулемёты замолчали. Отстреливаться было нечем; личного оружия не было. Командир батальона в звании капитана неожиданно исчез неизвестно куда. Немцы стали забрасывать каменоломни дымовыми пашками. Задымление было настолько сильным, что началось удушье. Оставшиеся в живых пулемётчики вынуждены покинуть каменоломни и 17 мая 1942 года, в окружении, безоружные, взяты немцами в плен.

Далее из протоколов допроса папы 23.04.1946 г.: около полтора месяцев в лагере для военнопленных в районе (запись неразборчива, видимо, Джанкой, Крым), затем эшеленом направлен в Житомирский лагерь 358, там пробыли также полтора месяца, с августа 1942 года перебросены на территорию Польши, где находились, возможно, полтора месяца, затем в Баварию. По данным военкомата в карточке военнопленного Сычёва Ивана

(том 95, лист 119), он прибыл в шталаг 17 А (7.11.1942), затем попадает в офлаг 13Д; номер военнопленного в германском лагере —15635. Во все немецкие лагеря приезжали представители АСТ для вербовки агентуры из числа военнопленных, занимались её подготовкой, обучением в спецшколах с последующей заброской в советский тыл; занимались сбором советского обмундирования, орденов и медалей.

В протоколах допросов, написанных следователем-дознанием со слов папы, есть и его подпись, где папа подтверждает верность изложенного. Суть вопроса состояла в том, что по какому-то данным папа был под подозрением: обучался в разведшколе. Далее со слов папы в протоколе допроса: «Во время пребывания в лагере на территории Баварии по требованию немецких представителей из числа 150 военнопленных была сформирована группа из 18 человек. Утверждалось, что она набирается на сельскохозяйственные работы в Баварии. В состав этой группы был включён и я».

Беседы с военнопленными вёл русский, белоэмигрант; утверждал, что они будут работать в с/х имениях. Но всю эту группу в сопровождении немцев и эмигрантов увезли в Австрию, в Брайтенфурт. Жили в бараках, окружённых высоким забором, колючей проволокой. Как стало известно позже, рядом с их бараками находилась школа, в

которой из числа советских военнопленных готовили агентов с целью затем забросить в тыл нашей страны, причём агитацию вели среди уроженцев заволжских территорий. В той разведшколе шла подготовка радистов-агентов. Абвер неукоснительно выполнял указания Гимmlера, который предложил использовать тех военнопленных, которые заявляют о своём согласии служить в немецкой армии; на самом деле группы формировали из тех, кто им подходил, без согласия на то военнопленных. Из протокола допроса: «В числе такой группы, сформированной якобы для работы в сельскохозяйственных имениях Баварии, стали вести беседы, в которых отмечался весь ужас советского строя, убеждали в том, что Советский Союз будет уничтожен. Вскоре стало ясно, что нас склоняют к согласию и вынуждают служить в немецкой армии. Такое согласие требовали и от меня. Я отказался служить в немецкой армии». И вновь из протокола допроса: сколько времени находился в школе? Ответ: около двух недель. В разведшколе не обучался, согласия не давал. Вопрос: назовите фамилии лётчиков-радистов-агентов. Ответ: не знаю, назвать не могу». Но эти допросы и ответы на задаваемые папе вопросы относятся к лету 1945 года и, далее, к 1946 году, то есть к периоду фильтрации. Естественно, после освобождения в феврале 1947 года папа не мог всё это рассказать маме

или брату, а факты, изложенные в протоколах допросов, и все мытарства по лагерям нам стали известны лишь несколько десятилетий спустя, а тогда, с осени 1942 года, когда папа отказался обучаться в разведшколе, не дал согласия служить в немецкой армии, продолжались муки военнопленного по другим немецким лагерям до самого окончания войны. Вновь информация о лагерях: существовали, кроме шталагов и офлагов, ещё и дулаги, пересыльные лагеря (временные лагеря, где военнопленных сортировали по профессии, воинскому званию, состоянию здоровья и т.д., даже по месту проживания до призыва на службу в Красную армию). В дулагах они ожидали своей участи. Во всех лагерях свирепствовали издевательства, побои, голод, холод, болезни, антисанитария и, как результат, — дизентерия, брюшной тиф, бред голодных, которых забивали палками диаметром 4-5 см, умерщвляли ядом с помощью медицинского персонала, специально заражали цингой, проводя эксперименты. Издевательства были настолько изощрёнными, что расстрел был самой лёгкой мерой наказания в лагере; известны случаи, когда советских военнопленных офицеров и генералов немцы вновь одевали в советскую форму, в которой они были пленены, запрягали в телегу по 8-10 человек и катались с хохотом и улюлюканьем по городу или такой «упряжкой» возили воду, мусор или камни. Что пришлось пережить папе в немецких

лагерях, естественно, он ничего и никому не рассказывал; лишь отдельные крохи сведений, когда он, закрыв лицо руками, со стоном произносил: «Да неужели всё это со мною было? Как удалось выжить? Рвали собаки, ломали руки, морили голодом». Только маме он говорил, что его вес в лагерях доходил до 42 килограммов. К слову, хочу заметить, что дедушке Мите (Кострице Дмитрию Николаевичу) тоже выпала участь быть пленённым, но вскоре он был отпущен домой, вновь вернулся на фронт, воевал до конца войны, за боевые заслуги получил несколько медалей. К сожалению, подробностей не знаем, да и о самом этом факте узнали слишком поздно, когда и спросить не у кого.

По карточке военнопленного ясно: папа прибыл в шталаг 7 ноября 1942 года, было ему неполных 25 лет, затем он, как лейтенант, помещён в офлаг, то есть лагерь для офицерского состава. После санитарного блока пленные на три недели попадали в карантинный, затем их регистрировали, заводили личное дело — учётную карточку, которая передавалась вместе с военнопленным при перемещении его по другим лагерям Германии и на оккупированных ею территориях. С этой карточкой и прибыл папа из неволи немецкой в свой фильтрационный лагерь. В учётной карточке военнопленного указывались фамилия, имя, отчество, вероисповедание, дата и место рождения, имя матери, гражданство,

национальность, семейное положение, место последнего жительства, фамилия и адрес ближайших родственников. Указывалась гражданская специальность или профессия, род войск и номер войсковой части, военное звание; рост, цвет волос, особые приметы, состояние здоровья, фото 3х4, чернильный отпечаток указательного пальца правой руки. Перед фотографированием вешали на бечёвке чёрную фанерную доску на грудь; мелом записывали личный лагерный номер. Он стирался с доски перед съёмкой следующего военнопленного. Далее выдавался металлический жетон с личным номером, носить его необходимо на шее или на руке, как часы. Одевали в «новую» одежду времён Первой мировой войны, немецкую или трофейную французскую, бельгийскую, английскую; тонкую, потому эта одежда и не грела. Обувь — ботинки на деревянной несгибающейся подошве, х/б носки. На одежду при помощи трафарета советским военнопленным масляной краской наносили несмываемые и видимые издалека символы — SU, под этим знаком красный треугольник, знак военнопленного. Эти символы наносили на шинелях — на спине, на гимнастёрках — на спине и левой груди, на пилютках — слева.

В карточке военнопленного Сычёва И.Е. указано, что он находился в офлаге 13Д (в этом же офлаге 13Д в начале 1942 г. находился Яков Сталин в особом блоке А).

С августа 1942 года пленных перебросили на территорию Польши, где они пробыли также около полутора месяцев, затем в Баварию. В Баварии отец работал на фабрике (запись в протоколе допроса неразборчива). Приблизительно во второй половине сентября 1942 года военнопленные группой (12 человек) совершили побег с этой фабрики, но на седьмой день были задержаны на территории Венгрии венгерской полицией; в течение пяти суток находились в карцере полиции, затем переданы немецкой полиции и направлены в Австрию. За побег — 25 суток в карцере и допросы в гестапо. С начала ноября 1942 года — шталаг 17А; отец направлялся работать в свиноводник с/х имения к бауэрам (ухаживал за свиньями и ел то, что им готовили, что помогло ему выжить в этот страшный период), выполнял какие-то работы в монастыре, затем в карьере, на цементном заводе. С августа 1944 г. и до конца войны — «Чёрный лагерь». Этот лагерь (шталаг 17 В) в 35 километрах от города Кремс (Нижняя Австрия) и в 60 км от Вены основан ещё в 1936 году; здесь содержались разного рода сомнительные личности, занимавшиеся проституцией, воры, гомосексуалисты; возможно, поэтому лагерь назывался «чёрным», но с лета 1941 года он стал принимать военнопленных. Частая переброска советских военнопленных по разным лагерям диктовалась необходимостью предотвратить

попытки организации побегов. Время приближалось к нашей Победе, немцы всё более зверствовали: если в бараке заболевали тифом 3-4 человека, то остальных расстреливали. В «чёрном» лагере только администрация жила в казармах, а военнопленные — в палатках, даже в зимнюю пору. О каких побегах можно мыслить, когда обитатели лагерей были на грани истощения? Освободили их 9 мая 1945 года, то есть здесь папа находился около 10 месяцев. Никаких дополнительных сведений в карточке нет, кроме того, что «освобождён и зачислен в 297 стрелковую дивизию, 1057 стрелковый полк».

В конце войны вышло постановление Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР № 1069, которое обязывало произвести проверку и фильтрацию всех освобождённых военнопленных и вышедших из окружения бывших военнослужащих и направить их в спецлагеря, находящиеся в ведении Управления НКВД. В них производился личный досмотр, требовалось письменное объяснение об обстоятельствах пленения и пребывании в плену; далее следовал допрос оперативниками нашей контрразведки: выявлялись противоречия в ответах; организовывали агентурное изучение подозреваемого, заводилось дело с протоколами допросов и заключением по результатам фильтрации, записывались сведения о товарищах, которые могли подтвердить

эти данные. Как и все советские военнопленные, папа подвергся фильтрации, то есть проверке причин и обстоятельств пленения. Эта процедура продолжалась с мая 1945 года до февраля 1947 г. Хочется отметить, что по списку участников войны — жителей нашей Нижней Павловки — у нескольких фронтовиков сложились подобные ситуации, в их судьбе появилась горькая отметина: был пленён. Например, учитель рисования и черчения нашей школы Василий Сергеевич Иванченко попал в плен в самом начале войны и был освобождён в победном мае, а домой возвратился только в конце 1945 года. Есть примеры и более позднего возвращения в родные края бывших военнопленных односельчан, а наш папа вернулся в феврале 1947 года.

И вновь возвращаюсь к событиям военного времени: самое тягостное воспоминание у мамы и бабушки о том, как поздней осенью 1942 г. в наш дом пришло извещение: «Ваш сын и муж пропал без вести». Последние письма бабушке и маме от папы были присланы весной 1942 года, затем наступила пора полной неизвестности, которая продлилась до февраля 1947 г. Физическое, да и моральное состояние мамы и бабушки трудно представить: почти два года (1 год и 8 месяцев), как окончилась война; кому повезло остаться живыми, те, хоть ранеными и калеками, но возвратились домой, а нам неизвестно, жив ли, а, может,

его уже и нет на белом свете, но продолжаем надеяться и ждать возвращения сына, мужа и папы из небытия. Конечно, после долгожданного и всё же невероятно неожиданного возвращения папы мы ничего не знали о том, каковы для него были эти пять лет. Рассказать он этого не мог. Я помню слова, произнесённые папой: «Слава Богу, я дома! Отпустили».

После того, как с архивных документов был снят гриф «секретно», нам удалось изучить материалы допросов папы за 1946-1947 гг. Читаешь строки немногословных протоколов, и сердце замирает от осознания того, какие муки перенёс папа, находясь в фашистских лагерях, от тяжести мыслей, что он невольно оказался в плену и не меньшие муки испытал, доказывая свою невиновность.

Папа, несмотря на все пытки плена, издевательства, травлю собаками, голод, истощение и тяжёлую работу в каменоломнях, выжил в немецких лагерях и верил в то, что домой он возвратится, а соответствующие органы разберутся в его невиновности. Главное, он честен не только перед своей совестью, но и перед страной. Здесь хочется сослаться на документ, появившийся в самом начале войны, когда Н.С. Хрущёв, будучи командующим Ленинградским фронтом, в шифрограмме № 4976 приказывал: «... разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по возвращении из плена также

будут расстреляны...», то есть предполагалось даже не пытаться разбираться в том, кто при каких обстоятельствах был пленён. Советские воины (солдаты, офицеры и высший воинский состав — генералы), попавшие не по своей воле в плен, считались дезертирами, предателями; они заочно лишались воинских званий, в документах, передаваемых в органы НКВД, значились как «бывшие военнослужащие», их семьи лишались продовольственных карточек. Дома, в родной Нижней Павловке, папу всегда ждала не только бабушка Дуня, но и мама, и я; разговоры о нём были постоянными и дома, и среди родных. Помнится, куда бы мы ни пошли с бабушкой: в лавку ли, то есть в магазин, на сепаратор ли — всегда её спрашивали о том, слышно ли что-нибудь о Ване или, может, какие-то новости пришли. Но ничего не было слышно, ничего не приходило. Наши вера в чудо и ожидание его укрепились после того, как бабушке приставучая цыганка (от которой, действительно, бабушка, как могла, «оборонялась», но настойчивая гадалка сломила её сопротивление), эта нежданно появившаяся «провидица» сообщила, что скажет ей о сыне, которого та всё ждёт да слёзы льёт. И за это ей жалко всего-то два яйца? Тут же бабушка велела мне сбежать за яичками и принести, а цыганка за эту плату выдала долгожданные вести: сын твой жив, ему «чижало», он в казённом доме; ты его «дождёсси», проживёшь с ним

два года и помрёшь на Пасху, как разговеешься крашеным яичком. Цыганка со своим заработком удалилась, а мы с бабушкой Дуней поспешили обрадовать тётю Груню, жену папиного брата, и старшую сестру папы, тётю Ольгу, таким радостным событием. Вечером, когда мама приехала с поля, бабушка бросилась навстречу ей и, вся светясь от радости, сообщила: «Марфуня, Марфуня! Наш Ваня жив! Он вернётся!» Вспоминая об этом, я так ясно вижу побледневшее лицо мамы, её внезапно застывшую улыбку и слышу тихий, от волнения вдруг осипший голос, спросивший: «Из сельсовета принесли?»

А бабушка, продолжая улыбаться, сказала, что нагадала цыганка. И в этот момент, будто очнувшись от наваждения, сама побелела в лице, подошла к маме, они обнялись и зарыдали обе, то ли от радостного сообщения, то ли от того, что это ведь только цыганкины слова. Гадание и есть гадание, а не официальная бумага из сельсовета, но как изменилась наша жизнь! Бабушка и мама повеселели, начали вдруг шептаться, секретничать. Каждый вечер мама, вернувшись с работы, спрашивала у свекрови: «Мамака, из совета ничего не принесли?»

Из сельсовета никаких вестей не было, и всё же они начали готовиться к встрече папы. Когда она будет, эта встреча: завтра, через месяц, год? Да и будет ли вообще? Такие мысли отодвигались, отвергались, а потому надо

готовиться. Низко склонившись друг к другу головами, пошептались, а на следующий день я увидела, как бабушка, придя откуда-то, извлекла из-под полы своей фуфайки довольно большую бутылку с белёсой жидкостью, закрыла сенцы на щеколду-задвижку, открыла ларь, в котором было зерно пшеницы, и закопала туда принесённое. Я стояла рядом и, увидев невиданных размеров бутылку, спросила, что же это такое в ней белое. Бабушка Дуня сказала внучке, что такая большая бутылка называется бутыл и что пусть она «тута стоит, а как твой папа вернётся, она и пригодится». Не подумала бабушка о том, что внучка подведёт бабушку и маму и откроет тайну схрона дяде Пане, когда он, придя к нам, стал умолять свою мать дать ему опохмелиться. Он так умолял, а она всё повторяла, что «нет у нас ничё, откуда у нас чё есть, нету ничё», только почти семилетняя внучка вдруг поняла, о чём просит дядя, и, удивившись, что бабушка, видимо, забыла, куда спрятала, указала координаты. Обнявшись с бутылью, дядя ушёл, а дорогая бабушка Дуня плакала и говорила внучке: «Ня надо было, уну ча, говорить про эту бутыл-то». Я тоже плакала; было жалко и бабушку, и то, что было припасено для встречи папы, а потом слёзы повторились вечером: когда мама пришла с работы домой и увидела бабушкины заплаканные глаза, та, не дожидаясь маминого вопроса, опередила с ответом: «Ни

сбирягла». И обе тихо плакали. Ждали, надеялись, а иногда и отчаивались, особенно бабушка. Она часто стала повторять: «Наверно, не дождёмся мы его. Был бы живой, так хушь какая бы весточка была бы. А то ну никакой весточки нету и нету».

Помню, что бабушка отдала своему старшему внуку Якову папину премиальную рубашку, которую мама всегда берегла, полученную им за ударный труд в колхозе. Были отданы и папины валенки. Мама их старалась уберечь для папы, всё время их подсушивала да пересыпала махоркой от моли. Табак мы выращивали на своём огороде, высушивали; бабушка крючком вязала шерстяные носки и варежки, а потом вместе с махоркой собирали посылки на фронт; не забывали обводить мою руку химическим карандашом, вкладывали этот листок в варежку в надежде на то, что вдруг посылка папе попадёт. Мама плакала, когда увидела, что нет ни рубашки, ни валенок, но больше из-за того, что бабушка, не посоветовавшись, сама приняла такое решение. Даже был разговор между ними, когда бабушка сказала: «Наверно, нам его уж боле не суждено увидеть, а ты када-никуда апосля выйдешь замуж, а его мой сын, потому и отдала». Конечно, у папиной старшей сестры Ольги тоже шаром покати, ни одеть, ни обуть, а кроме Якова, у неё ещё две дочки; о муже Михаиле ещё с 1937 года ничего не известно: после

ареста как в воду канул. Бабушка Дуня шёпотом рассказывала о том, что он неосторожно высказался в присутствии уполномоченного, которых в ту пору было пруд пруди и которых все так боялись. Михаил работал на колхозном хлебном току, а урожай был хороший, зёрнышки пшеничные один к одному, наливные. Этот уполномоченный взял в горсть зерно и потихоньку его из горсти-то и высыпает да говорит, что зерно хорошее, а Михаил возьми да и скажи, что зерно-то хорошее, да нам-то оно не достанется. А утром его и забрали; так и сгинул человек, будто и не было его на белом свете. Второй сын Николай погиб (служил в ж/д войсках). Бабушка Дуня всегда жалела свою старшую дочь, да и жили они с моей мамой всегда дружно. Я не помню какого-либо разлада между мамой и бабушкой, возможно, я тогда была мала, да и когда ссориться, если мама работала на колхозном поле от темна до темна, но этот момент я запомнила. После обнаружения недостающих рубашки и валенок мама вдруг полезла на чердак, где лежал папин велосипед, но и его там и лежал, ожидая хозяина, но оказалось, что бабушка пожалела другого внука, Колю (Кольку), он его и доломал. Как ни обидно маме, а время было такое, что, наплакавшись, обе обнялись и стали ждать Ваню: бабушка сына

(«можя и правда, Бог дасть — и он придя»), мама своего любимого супруга, а я своего папу, которого знала лишь по фотографии.

Но наш папа после пятилетней неизвестности и почти девятилетней разлуки с семьёй, то есть со дня призыва на службу в РККА, возвратился. Я была уже школьница, первоклассница. В то время в школу принимали с 8 лет, мне тогда уже шёл 9-й год, поэтому свою первую встречу с папой хорошо помню. Наша кровать, на которой мы спали с мамой, стояла как раз напротив печки, всего, видимо, на расстоянии не более одного метра от неё, потому я проснулась от тепла и вкусного запаха. Бабушка пекла чинёнки, так она называла большие, всего два на большую сковороду, пирожки с тыквой или с капустой. Она стояла у печки с чаплею в руках, наблюдала за пирожками, а я вскочила на ноги, но стояла на кровати. Бабушка улыбнулась мне и сказала: «Посмотри-ка, унуча, как мороз окна-то разрисовал. Ох, и трескучий мороз ночью был!». Я спросила у бабушки о том, где же моя мама, а она ответила, что мать пошла за водой к колодцу, потом надо коровке соломки дать, да напоить, да и в избу воды надо «принесть». В это время я услышала, как в сенцах зашкрипели доски пола, потом громкий стук чего-то падающего: это мама пришла и бросила на пол коромысло. Дверь широко открылась, и мама вошла в избу, а вместе с ней клубы белого пара.

Мама поставила вёдра с водой на пол, чтобы вернуться и быстро закрыть за собой дверь, опять взяла в руки вёдра, так как их надо поставить на лавку, но не успела сделать и двух шагов, как раздался стук в дверь, и тут же в облаке густого белого пара вбежал человек. Мама стояла спиной к двери, а бабушка лицом к ней, и вдруг она вскрикнула и почти закричала: «Ва-а-а-ня!»

Мама повернула голову, вскрикнула, руки её разжались, вёдра с водой упали, холодная вода разлилась по всему полу, а они все трое бросились друг к другу и, обнявшись, стали плакать навзрыд. От страха, ничего не понимая, я тоже заревела. Первой опомнилась моя дорогая бабушка Дуня, она сказала мне: «Валичкя, вить это твой папа». Папа подошёл к кровати, обнял меня, сказал: «Какая же ты, доча, уже выросла большая!» Бабушкины пирожки сгорели, только плач не прекращался. На крики, которые невозможно было услышать через тонкую дощатую перегородку, разделяющую наши «хоромы», почти сразу же прибежала испуганная тётя Груня, дядина жена. Слезы, причитания повторились, но она, добрая душа, довольно быстро справилась со слезами и побежала домой сказать супругу, папиному брату о том, что Ваняка вернулся, а сама побежала к тётё Оле с этой радостной вестью. Время зимнее, утро раннее, ещё на улице темно, а она по пути стучала в окна

соседям, оповещая их о такой новости. Вскоре прибежала тётя Оля, набилось много женщин, а позже стали приходиться и мужчины. Задавали много вопросов, особенно женщины, а мужчины, сами недавние фронтовики, были немногословны, курили; они понимали: мог ли им папа что-либо рассказать? Я только запомнила одно: «Слава Богу, отпустили», а ещё запомнился этот день тем, что мне очень долго пришлось сидеть на кровати. Время двигалось к обеду, но родной брат, председатель сельского совета, не пришёл разделить радость возвращения младшего брата после девятилетней разлуки. Мужчины стали расходиться, а папа сказал, что надо идти в сельский совет, показать документы. В сельском совете брат ему руки не подал, не счёл нужным не только обнять, но даже не поздоровался, лишь спросил, не сбежал ли он откуда-нибудь, документы посмотрел, и на этом общение закончилось. После посещения сельского совета и «общения» с братом папа пришёл домой очень расстроенным.

Много унижений, издевательств, каторжного труда перенёс папа за годы войны, плена, послевоенных разбирательств, а дома родной брат даже руки не подал. Бабушка и мама опять плакали, но папа, успокаивая их и, видимо, чтобы как-то отвлечь, сказал, что надо бы пойти к теще, то есть к маминой маме, моей бабушке Наталье и тётё Ноте. Бабушка нагрела водички, а мама

всё поливала её папе на голову; всё же удалось с дороги помыться. Кое-что нашлось из папиного нижнего белья, сбережённого мамой с довоенного времени, и «обновлённый» папа после этого сидел на сундуке с каким-то растерянным, улыбающимся лицом, в ожидании, когда его «трофейные» х/б брюки и рубашка высохнут в жарко натопленной печке. Бабушка опять хлопотала с капустными пирогами, мама всё придумывала, из чего бы папе сделать портянки, а к вечеру мы втроем отправились к бабушке Наталье.

Видимо, эмоциональное напряжение от неожиданного счастья (у меня теперь есть папа!) было так велико, что я и сейчас вижу себя, как идём вместе, они держат меня за руки, а я скачу вприпрыжку. Бабушка с маминой сестрой и двумя моими двоюродными сестричками, Маней и Полей, жили по другую сторону речки, и мне тогда казалось, что это очень далеко. Они уже были кем-то оповещены о нашей радости и при свете коптилки нас угощали очень мелкой варёной картошкой в мундире, другого-то ничего не было. Вот так и стали мы теперь поживать четвером в одной избе. Трудностей было много, но папа стал работать по своей специальности — ветеринарным фельдшером в ветлечебнице. Не помню, какая была зарплата у папы, но всё же у нас появились какие-то деньги. В колхозах работали за трудодни, которые деньгами не оплачивались,

потому мы, как и все колхозники, очень бедствовали.

Но отчуждение, неприятие, оскорбления и унижения со стороны старшего брата продолжались много-много лет. Папу это очень угнетало; по этому поводу мама много слёз пролила, но папа всё пытался её успокоить, просил брата понять, ведь он власть, «а я был в плену и старался на него обиды и зла не держать», время такое было. Трудно понять мысли, чувства, поступки старшего брата, облечённого властью. Что это? Боязнь за себя или он поступал так, как ему просто казалось правильным, согласно своим убеждениям, был уверен в правоте или руководствовался установкой: попал в плен, значит, ты предатель. Он так и называл папу даже прилюдно, хотя мужчины, вернувшиеся с войны, папу защищали, относились к нему всегда уважительно.

Трудная, бедная, но в какой-то мере благополучная пора жизни в семье продолжалась до начала 1951 года, хотя к этому времени умерла наша бабушка Дуня, дождавшаяся возвращения сына, прожив с ним, как и нагадала цыганка, два года и покинув белый свет на великий праздник — Пасху; не стало и маленькой Анечки. Но в январе, видимо, в самом конце, папе вручили повестку, требующую явиться по адресу: г. Оренбург, ул. 9 января, 43. Здесь располагались органы НКВД. Опять были тревоги, мамины слёзы: «Сколько же можно?» Папа

утешал маму, что скоро вернётся, ведь за ним вины нет, но пришлось вновь его собирать в неизвестную дорогу. Как ни трудно было жить в то послевоенное время, всё же за эти годы папе руками сшили из перелицованного сукна новое полупальто, сваяляли валенки, и папа в этих обновлениях отправился в неизвестное. В Оренбурге жила мамина двоюродная сестра Феодосия Сергеевна — Феня, и папа должен был остановиться у них, если вдруг придётся заночевать. Прошло пять дней, а папа не возвращался. Мама в тревоге и со слезами в зимнюю пору на попутной машине поехала в Оренбург в надежде что-нибудь узнать о папе. Куда обратиться? Бабушка Феня и её супруг дедушка Вася рассказали, что Ваня два раза приходил к ним ночевать и больше не был. Мама решила пойти в этот серый дом; о том, как ей удалось туда пройти, я не знаю, но добралась она до дома, когда уже было почти темно; в слезах, с раскрасневшимся от мороза и тревог лицом, сказала, что ей ответили кратко: задержан. Так и начались наши новые муки и тревоги за папу. Остались мы с мамой теперь вдвоём. Помню, что мы иногда просто голодали. Запасы соломы для нашей коровки заканчивались, и мы с мамой ходили воровать корм — сено и солому — с колхозного бригадного двора, который был рядом с нашим огородом. Конечно, добрая душа тётя Груня поддерживала маму, но дядя Паня, узнав,

что брат вновь задержан, вовсе перестал нас замечать. А в самом начале февраля, возвращаясь из школы, я увидела у ворот нашего дома странную чёрную машину с решётками на окнах. Это потому я узнала, что она называлась «чёрный ворон». С чувством неимоверного страха перед неизвестным я вошла в избу. Ещё только приоткрыв дверь, я увидела в клубах синего дыма полный дом народу, плачущую маму и мужчин из нашего колхоза; все курили. Лицо мамы было буквально малинового цвета, никогда не забыть её бесцветные от слёз глаза. Какие-то мужчины в военной форме сидели за столом и писали; их двое, остальные — наши деревенские. Когда я несмело переступила порог, мама сказала, что это дочка пришла из школы. «Гости» промолчали, а я осталась стоять у порога и не знала, что мне делать: можно ли пройти, сесть ли на свою кровать, потому что все табуретки заняты, а трое сидели на сундуке. Так я и стояла у порога с сумкой в руках, не зная, лучше портфель с моими пятёрками повесить или положить.

Я училась уже в пятом классе, потому вполне осознанно понимала, что с папой что-то произошло; от тревоги за него и за плачущую маму меня будто сковало холодом, но чётко помню мамин взгляд. Она пристально смотрела на меня, а слёзы текли по её опухшему лицу, как будто она хотела мне что-то сказать, подержать, успокоить, но не могла

этого сделать. Намного позже мне стали понятны эти слова: понятия, следователи, обыск; а в тот момент для меня были просто наши, деревенские мужчины — и приехавшие дяди в военной форме. Закончив свою писанину, один из них стал задавать вопросы маме: «Где у вас мебель?! Куда всё подевали?! У кого из родственников или соседей всё это находится?!» Тогда мама, потерявшая голос, совсем тихо произнесла: «Да про какую же ты мебель спрашиваешь? Я не знаю, о чём вы говорите».

Пришлось этому оперативнику объяснять неграмотной колхознице, что же такое мебель, а мама ответила, что вот это всё и есть наша мебель, другого ничего никогда и не было. Мужчины подтвердили, что все в деревне так живут: стол, лавки да табуретки самодельные. Затем допрашивающий открыл сундук, а он почти пустой: на дне лежали только мамины новые валенки да фуфайка, завернутое в чистую тряпицу папино нижнее бельё да несколько кусочков мыла.

— Сундук пустой! И это всё? Кому всё раздали?!

И опять мужчины вступились за маму, подтвердили, что в деревне все так живут, и знаем друг друга «спокоен веку», и у кого что есть — тоже известно. Разве не ясно, как колхозники жили во время войны, да и после войны ещё кругом нищета, никак из нужды не выберемся. «Гости» нервничали, кричали на маму и

матерились на мужчин, угрожали и предупреждали их о том, что если они, заступнички, выгораживают хозяйку, то...

— Где у вас литература? — очередной гневный вопрос маме.

— Да вон там, в шкафчике, за голландкой. А там, вплотную между стенкой и голландкой, стояла моя небольшая деревянная кровать, сделанная папиными руками, из которой я уже почти выросла. В изголовье этой немудрёной кровати висел самодельный — тоже папина работа — шкафчик для моих учебников. Встав одним коленом на постель, следователь дотянулся руками до книг, и учебники посыпались на кровать. Увидев, что набор «литературы» слишком тощий и школьный, совсем рассвирепел: «Где, я спрашиваю вас, где литература?»

— Да какую же ты спрашиваешь литературу? Больше у нас никаких книг нет и не было, — еле слышно отвечает мама. Как на грех, этот НКВДшник увидел листок из школьного учебника литературы, приклеенный мною на створку шкафчика: на нём был изображён М.Ю. Лермонтов. Кто вырвал листок из книги, неизвестно; такой учебник я получила в самом начале учебного года: глаза М.Ю. были обведены чернилами, но я их сделала «более выразительными», то есть ещё раз обвела (и удлинила усы). Помню, что папа, застав меня за таким художеством, поругал. Он всегда бережно относился к книгам, что я увидела и поняла гораздо позже: выписывал много

газет и специальной литературы, журналы «Ветеринария», «Наука и жизнь», «Изобретатель и рационализатор», «Наука и техника», материалы по генетике, часто повторял, что вынес все испытания во время разбирательств по поводу плена только потому, что много читал, видимо, это не запрещалось.

Увидев такое художество, следователь сорвал листок из шкафа и, размахивая им перед моими глазами, стал кричать:

— Ты зачем, зачем это сделала?

Я вначале плакала безмолвно, а теперь, увидев близко перед собой страшные глаза и лицо этого дяди в форме, от страха и обиды за себя и за маму заревела. Вспоминая сейчас об этом, я с ужасом представляю, что и как могла чувствовать мама. Как это можно вынести, находясь в таком униженном, безвыходном состоянии? Тогда дядя Ваня Говоров встал и громко сказал:

— Товарищ лейтенант, ну ведь это ж ребёнок. Ну, подрисовала; она сделала это по недомыслию. Ну что ты с неё взыскиваешь?

Вот тут-то и досталось заступнику; теперь крик и мат поддержал и второй представитель, который до этого всё писал молча. Остальные мужчины тоже стали уговаривать успокоиться «товарища лейтенанта». Когда наконец-то «гости» немного успокоились, они, оставив понятых в избе, вышли вместе с мамой во двор осмотреть хозяйство. В небольшом плетнёвом сарайчике, обмазанном для утепления

глиной, смешанной с соломой, находился наш скот: кормилица-корова да овца с ягнёнком. Со слов мамы, допрашивающие вторяли: «Где и у кого спрятали скотину, говори!»

От нервного напряжения мама почти потеряла голос и на их вопросы по поводу такого хозяйства тихо отвечала, что больше у нас никакого скота нет и никогда не было. Пока мама показывала наше хозяйство, дядя Лексан Бунин сказал, чтобы я сняла одежду и села на свою кровать. Возвратившись в избу, представители стали что-то записывать в бумагах, лишь изредка полушёпотом обмениваясь информацией, видимо, приходили к общему решению, согласно кивая головой. Молчали и понятия. Когда представители закончили оформление необходимых документов, передали их в руки дяде Лексану. Достоверно не помню, читали ли понятия вслух написанное, только вижу, что, низко склонившись друг к другу, дядя Федя Безмельницын и дядя Лексан смотрели эти бумаги, потом расписались, а остальные сидели молча.

Следователи не сочли нужным ознакомить маму с содержанием документов, подписанных понятием. Что в этих бумагах написано, что уготовано нам? Когда и маме предложили подписать заключение осмотров и допросов, она, совсем обессилев, сказала, что расписаться не может, так как ничего не видит. Других представителей нашей семьи нет,

следователи сочли возможным считать мою подпись действительной. Так я, пятиклассница, безропотно подписала какие-то бумаги. Только когда появилась возможность прочитать архивные документы, когда нашего дорогого, многострадального папы нет уже более 28 лет, нет и любимой мамы, мужественно перенесшей все тяготы военного времени, любившей папу и столько лет, веря в него, ожидавшей, — мне и младшей сестричке Любе удалось ознакомиться с документом, где стоит эта моя подпись. Уникальный документ называется «Сохранная расписка». В воспоминаниях я употребила неуважительное к документам слово «писанина». Не хочется обидеть память этих следователей; видимо, их уже нет на белом свете, и они рьяно исполняли служебные обязанности, уверенные в своей правоте и в правомочности таких методов работы. Как говорится, Бог им судья.

Здесь воспроизведу дословное содержание, стиль написания и знаки препинания этого документа; жаль, что почерк, которым он заполнялся, передать невозможно.

Сохранная расписка 14 февраля 1951 года

Я, Сычёва Марфа Прокофьевна даю настоящую расписку в том, что переданный мне скот на содержание корова 3 лет, овца одна, ярка 1950 года одна обязуюсь сохранить до особого распоряжения об ответственности за реали-

защиту указанного скота и дома 30 квадратных метров предупреждена В чём и расписываюсь Сычёва (подпись моя) 14 /II 1951 г.

Читаешь эту «Сохранную расписку», и оторопь берёт от того, в каком жутком, безвыходном, ничем и никем не защищённом состоянии может находиться человек. Главное совсем не в том, что в ней допущены ошибки в правописании, а в смысле самих слов; только вдуматься: мне передают мой скот на содержание и сохранение до особого распоряжения; об ответственности предупреждают, вдруг мы её реализуем. Слава Богу, хоть и кормили свою скотину одной соломой, но сохранили, особого распоряжения не наступило. Я помню, как мы с мамой воровали с колхозного скотного двора сено; бригадный двор, где содержались лошади, примыкал к нашему огороду, и мы дёргали заснеженную траву, набивали мешок и по протоптанной нами дорожке быстрее тащили в закуту. Запас своей соломы был на исходе, потому и рисковали, хотя обнаружить наше «злодеяние» было совсем легко и по протоптанной дорожке в глубоком снегу, и по невольному обронённым травинкам.

И вновь мысленно возвращаюсь в февральский день 1951 года. Уехали на своём «чёрном вороне» старательные в поисках следов криминальных действий папы следователи, а деревенские мужчины ещё довольно долго сидели у нас, опять курили, о чём-то тихо разговаривали, всё успокаивали маму,

которая, опустив руки, сидела безучастной и продолжала тихо плакать. Я тогда не знала, что мама была беременной, братик Ваня родился в июле того года. О чём теперь говорили мужчины, не помню, хотя во время работы следователей все произнесённые ими фразы и действия чётко запомнились. Долго в этот день мне пришлось стоять у порога, потом, когда следователи и мама ушли осматривать хозяйство, сидеть на кровати, вдруг голова моя стала какой-то тяжёлой, а в ушах стоял непрерывный звон. Дядя Тимоха, улыбнувшись, подозвал меня к себе и, погладив по голове, попросил показать дневник и тетради, а потом, прижав меня к своим коленям, стал листать странички дневника, называя вслух мои оценки (пятёрки), и все стали хвалить мой почерк. Мама немного успокоилась, слабо улыбалась. Позже, став взрослой, я поняла, что эти «смотрины» моих успехов были желанием помочь нам справиться с волнением и слезами. Светлая и добрая память и великая благодарность за поддержку и помощь в эти трудные дни!

Потом наши защитники ушли, а мы с мамой опять остались одни. В избе вдруг стало совсем холодно: утром мама не успела испечь голландку, а потом появились неожиданные гости. На улице морозно и темно, мы с мамой, не зажигая света, сидим у стола в нетопленной избе. Мама опять стала плакать; мне ничего не говорила, зачем приезжали эти люди,

что с папой. Она и сама не знала, почему нагрянули военные, только стало понятно, что опять с ним случилась беда. У меня вновь разболелась голова; впервые не хотелось учить уроки и идти завтра в школу. Сидели мы с мамой одетыми, но у меня была такая внутренняя дрожь, которую, казалось, унять невозможно. Трудно даже представить, каким было состояние мамы: голубоглазая, белолицая красавица была похожа в это время на согбенную старушку. Я это говорю не для того, чтобы стусить краски, я просто вижу её в таком состоянии даже много лет спустя. Потом, будто очнувшись, мама услышала, как громко уже не замычала, а заревела наша Малинка: кормилица-коровка и овечка с ягнёнком тоже весь день были не поены и не кормлены. Управившись с этими житейскими заботами, мама затопила нашу голландку, стало немного теплее, дрожь будто поутихла. Видимо, закончив свои домашние дела, к нам пришли папина старшая сестра (я её всегда почему-то называла бабушкой Олей), мамина кума и другие женщины-соседки, они о чём-то тихо разговаривали. О чём они могли в такой момент говорить, что им могла мама рассказать? О папе всё равно ничего не известно. На следующее утро пришла тётя Груня, дядина жена; минувшим вечером она прийти не могла, «он не велел», вот утром, как «сам ушёл в сельсовет», пришла поговорить, узнать.

— А что сказали эти? Что-нибудь слышно про Ваняку? (Так она называла папу).

— Ничего не сказали, ничего не слышно.

Вот и всё, что могла сказать мама Груне. Тётя всегда была участлива и доброжелательна, часто помогала нам: то хлебом, то отрежет кусок сала. Опять вдвоём плакали. Пришла мамина сестра Наталья (Нотя) — опять слёзы. А к обеду этого второго дня пришла посыльная из сельского совета, принесла повестку: явиться для разговора. С какой тревогой туда шла мама, трудно представить. Что ей здесь скажет председатель; были ли у него эти люди из «чёрного ворона»; поставили ли в известность местную власть о том, для чего сюда прибыли, или сами по себе действовали «в рамках своих полномочий», знал ли он о результатах их проверки; может, ему известно, почему папу задержали? Может, его в чём-то подозревают, обвиняют? Ни на один свой вопрос мама ответ не получила: то ли всё было под секретом, то ли и его не предупредили о своём «визите», а он просто увидел «чёрного ворона» у ворот дома и сделал вывод, что в этом нет ничего хорошего. А суть разговора дяди с мамой состояла в том, что он настоятельно рекомендовал ей отказаться от папы и написать об этом официальное заявление, на что мама ответила отказом. Мама ещё во время Великой

Отечественной войны вступила в партию ВКП(б), Всесоюзную коммунистическую партию большевиков (позднее КПСС), и дядя напомнил, что связь с таким мужем — это пятно не только на ней, это угроза её членству в партии, да и пятно на саму партию, напомнил, что за это маму могут исключить из её рядов. Рекомендации, советы, доводы, увещевания были далеко не в мягкой форме, наконец, было произнесено, что это пятно ложится и на него. Мама вновь плакала и напомнила ему, что с малолетства честно работала в колхозе, во время войны работала бригадиром полеводческой бригады, получила медаль «За трудовую доблесть», сдавала деньги на танк. Когда надо было подписываться на облигации займа, она, как доверенное лицо, ходила из двора во двор и уговаривала колхозников подписаться. А в каждом доме была нужда: люди не имели денег, и всё же с трудом и со слезами они подписывались кто на 5 рублей, кто на 10, а иные на 15 рублей, я сама подписывалась, для примера, на 25 рублей. А потом, придя домой, вместе с бабушкой Дуней плакали, где взять эти деньги. Продать нечего, голь перекатная, только молоко, да где его взять, лишнего не было: надо было сдать в заготовку 220 литров. Занимали у кого-либо молоко, а чтобы продать его, надо ехать на попутных машинах в Оренбург, а там ещё и милиция гоняла, продавать не

разрепалось. Наплакавшись в сельском совете, мама отказного заявления не написала, сказала, что верит папе, что придёт время, разберутся; верила, что её за добросовестный труд и заслуженную медаль из партии не исключат. Дядя, не убедив доводами, прибегёт последний аргумент: напомнил, что у неё подрастает дочь и своим поступком она портит мне жизнь. Как ни тяжелы были аргументы, как ни груб в «народных» выражениях был весь разговор, мама осталась верной своему слову и папе.

Прошло много трудных лет, и, возвращаясь мысленно к тем годам, невольно начинаешь думать, размышлять, вернее, пытаешься понять мотивы, цели дядиных поступков: почему так настойчиво рекомендовал маме написать отказное заявление? Поступал по принципу «был в плену — значит, предатель», и эта установка никак не позволяла понять, что плен — это не всегда поднятые вверх руки, или посулы врага, или сломленная воля военнопленного в немецких лагерях? Бывают и такие безвыходные ситуации, как контузия, тяжёлое ранение, попадали в плен и безоружные в окружении. Была ли это рекомендация сверху или собственная инициатива? Боялся ли за себя? А может, сам написал отказное от собственного брата заявление, испугавшись за репутацию и своё будущее. Всё это так и осталось тайной для нас. После того, как

мама ушла из сельского совета, началось ещё большее отчуждение. Никогда он не спросил о том, как нам живётся (теперь уже нас трое, родился маленький Ваня), нужно ли в чём помочь, только добрая тётя Груня всегда помогала нам украдкой, чтобы «Панька не узнал; он не велит». Даже когда папа возвратился реабилитированным, очень долго отношения между родными братьями были холодными, отчуждёнными. Папа, как младший брат, всегда стремился к сближению, убеждал нас с мамой понять его, не осуждать, не обижаться; говорил: «Время такое было». Лишь к 1959-1960 годам отношения оттаяли, папа с мамой часто ходили к ним в гости, а братья подолгу наедине разговаривали. Надеемся, что дяде удалось понять свои ошибки; между ними было примирение, только жаль, что мы, радуясь этому, не потрудились узнать или по своей беспечности не сочли нужным узнать об их путях друг к другу. Главное, папа всегда говорил о прощении; он прошёл все «муки ада» и остался Человеком с большой буквы, знал цену и сказанному слову, и самой жизни.

И всё же в своём повествовании я вновь хочу возвратиться к самому началу второй половины XX века. Шёл февраль 1951 года. После отъезда следователей на злополучном «чёрном вороне» наши тревоги усилились, опять мучительная неизвестность, и мама решилась поехать в Оренбург, в тот

серый дом, попытаться что-либо узнать о папе. Уже сама я, прожив столько лет, слишком поздно поняла и осознала житейский подвиг нашей мамы. Имея всего один класс образования, она была умна; бригадирская школа во время войны закалила её характер, мама приобрела опыт руководителя, умела найти правильное решение; если случались трудности, она, наплакавшись, находила в себе силы не отчаиваться. Как она любила папу, ждала его столько долгих лет, верила в его невиновность! Потому и пустилась в это зимнее путешествие; тогда поездка в Оренбург была трудноразрешимой проблемой. Как она добилась сведений о папе, не знаю, только сказала, что он в том самом сером доме и ему можно передавать передачу. Купить съестное в городе не могла, денег только на обратную дорогу (30 копеек), да и надо спешить доехать до дома засветло; зимний день короток, а будут ли попутные машины? Приехав домой, мама стала думать, как собрать передачу папе; решили напечь орешков из теста на молоке, сварили пяток яичек, тётя Груня отрезала половину большого калача хлеба, который она сама была мастерицей выпекать, принесла нам (с условием: не говорить Паньке) несколько больших луковиц, а бабушка Наталья передала кусок сахара, отколотый от когда-то большой сахарной головки. Целую голову сахара я никогда не видела, но помню, что у бабушки был небольшой

кусок, от которого она специальными щипчиками отщипывала нам маленькие кусочки, чтобы подсластить травяной чай. Видимо, гостинец для папы пришлось откалывать: такой щипчиками не возьмёшь. На следующий день мама опять поехала в Оренбург с передачей папе, а позже сказала, что передачу взяли, но свидания с ним запрещены. Какое-то время папа находился в Оренбурге, в этом самом сером доме, мама два раза ездила с передачей, но каждый раз надо было отпрашиваться с работы. В её обязанности входило утром и вечером испечь голландку в доме на бригадном дворе. И когда мама уезжала в Оренбург, в эти дни бригадный двор страдал от холода, потому мама со слезами и волнением предложила мне поехать в город с передачей. Это сейчас преодолеть расстояние в 25 км не проблема: автобус ходит по расписанию каждые полчаса. А тогда поездка была событием тревожным: ехать в зимнее время с незнакомым водителем в кабине, на попутной грузовой машине, да и довезёт этот дядя лишь до железной дороги, а до Оренбурга ещё надо идти пешком, вдобавок ко всему в город я ехала первый раз. Мама, заливаясь слезами, объясняла мне, как дойти до серого дома, куда зайти, «...там увидишь, что надо сделать, только, как возьмут передачу, быстрее домой: темнеет быстро». А надо опять дойти из Оренбурга до ж/д линии, а уж

потом ловить попутную машину; просила не заблудиться. Я и сейчас с ужасом вспоминаю этот мой визит в город: дело ещё и в том, что въезд в Оренбург был совсем в другом месте. Какой это был день, не помню; возможно, пришлось пропустить школьные занятия. Само посещение серого дома осталось в памяти навсегда и прочно, хотя то, как я искала здание и как добралась до Оренбурга, совершенно вылетело из головы. Видимо, от эмоционального напряжения всё делала, как запрограммированный автомат, потому и не помню, как попала в город и как потом оказалась дома, — осталось как в тумане. Как ни странно, помню, как я открыла тяжёлую входную дверь и оказалась в узком и очень тёмном и длинном коридоре, в конце которого толпились какие-то взрослые люди; они тихо разговаривали между собой. Я спросила у женщины о том, где принимают передачи, а она, взглянув удивлённо на меня, сказала: «Здесь... И ты, детка, будешь держаться за мной». Очередь продвигалась очень медленно, у меня стала кружиться голова, стоял шум в ушах, мне вдруг показалось, что кто-то, причитая, громко плачет. Понемногу я осмотрелась: высоко на потолке светилась одна лампочка, почему-то обмотанная проволокой; стала различать лица людей, в основном здесь были женщины. Уже и за мной образовалась очередь, а стоявшая за

мною женщина спросила, кому же я принесла передачу. Я ответила, что это передача моему папе, а она опять с вопросом, почему же пришла не мама, а я, «ведь ты ещё мала». Пришлось уточнить, что я не пришла, а приехала, сказать, что мама раньше приезжала сама, а теперь не смогла. Помню, что участливая женщина произнесла: «О Господи, что же это такое творится?»

Наконец наша очередь повернула, и мы оказалась в более широком и светлом коридоре. Одни посетители подходили к маленькому окошку, с кем-то разговаривали, потом их узелок или сумка исчезали в окне, а затем кое-что вновь оказывалось на маленьком подоконнике, а из окошка слышался голос: «Не положено!»; у иных и вовсе передачи не брали, тут начинался плач и даже ругательства. Когда подошла моя очередь, из окна спросили: «А тебе что здесь надо?» Окно было высоко, я увидела только грудь дяденьки в форме, да вновь голос откуда-то издалека спросил фамилию и о том, что у меня здесь в сумке; говорящий посмотрел содержимое и со словами «не положено» выбросил в окошко листок, на котором я написала папе записку, остальное забрал. Я растерянно стояла и не знала, что дальше делать, но опять та женщина мне сказала: «Ты, дочка, больше ничего не добьёшься, поезжай-ка ты домой». А домой добралась, когда уже начинало темнеть; мама с заплаканными

глазами сидела в избе, ждала и волновалась, а я и не помню, как это я была в городе — и вдруг оказалась дома, как будто всё это не со мной было. В школу на следующий день не пошла: заболела. Через какое-то время вновь пришлось ехать с передачей папе, но, услышав названную мной фамилию, голос из окошка произнёс уже знакомое «не положено», его обладатель двинул назад мою сумку, содержимое которой даже не посмотрел. Теперь уже много голосов из очереди стали объяснять мне, что передачу совсем не возьмут, ожидать больше ничего не надо, «всё равно, дочка, тебе никто и ничего объяснять не будет»; вот и пришлось возвращаться домой, не исполнив наше желание — как-то доказать и напомнить папе, что мы его помним и любим. Сколько слёз было пролито мамой в ту пору, как она верила папе! На следующее утро мама поехала в Оренбург, в этот серый дом, узнать хотя бы что-нибудь, конечно же, взяла и сумку с передачей для папы. Однако в ответ получила одно слово: вы был. И опять для нас начались два года неизвестности, тревог и трудностей; бывали дни, когда даже поесть было нечего и приходилось ездить в Оренбург за хлебом. Запасы муки были на исходе, и мама её очень берегла: уже подрастал маленький братик Ваня, ему мама на молоке готовила жидкую «кашу», подсыпая в молоко муку. С лета 1951 года я вместе со своими подружками

часто ездила в город за хлебом, но, чтобы иметь на это деньги, мы продавали молоко на улице Чичерина. Продавать не разрешалось, нас гоняла милиция, приходилось убегать, хотя это бегство иногда заканчивалось слезами, так как отобранное молоко просто выливалось на землю. В такую дикость трудно поверить, но, к сожалению, так было. Немного успокаивало наших мам то, что ездили в Оренбург по 3-4 человека, да и хлебозавод находился здесь же, в самом начале улицы Чичерина.

Продавали хлеб только по одной буханке в руки, поэтому мы, спрятавшись в закоулках городского двора, оставляли возле наших покупок двоих дежурных, ходили по очереди за хлебом и так затаривали наши мешки; счастье, если удавалось приобрести по 8-10 буханок, тогда, страшась с нашими покупками попасть на глаза милиционеру, быстрее покидали Оренбург и шли с этой ношей до ж/д линии, а там уж спокойно ожидали своё счастье — попутную грузовую машину. Подружки мои тоже жили в нужде, хотя уже шёл шестой год, как закончилась война, но трудностей всем хватало сполна, у некоторых моих одноклассниц отцы погибли на фронте, у других возвратились домой инвалидами. Что давало силы нашим мамам? Только вера, что когда-нибудь наступит время, и дети будут сыты и обуты; эта вера и надежда помогали им держаться ради своих детей. Как мы с мамой и Ваней прожили эти два

года новых испытаний и неизвестности, описать без слёз трудно.

Мама очень гордилась моими успехами в школе и, когда нас стали готовить к вступлению в комсомол, радовалась вместе со мной. Никогда не забыть того школьного собрания, когда нас, лучших в учёбе и написавших заявление с просьбой «принять в ряды коммунистической молодёжи», принимали в ряды ВЛКСМ. Тогда я не обратила внимания на то, что меня принимали в комсомол последней из всех, кто в этот день решил пополнить ряды коммунистической молодёжи. Я круглая отличница, а остальные девочки и ребята — хорошисты, их быстро приняли, задав несколько вопросов по уставу, попросили назвать фамилии лидеров коммунистических партий дружественных нам стран и задали ещё какие-то вопросы. Старшеклассники, члены комитета комсомола школы, торжественно сняли с каждого из них пионерский галстук, и радостное новое пополнение садилось за парты. Комсомольское собрание проводилось в самом просторном классе; парты были сдвинуты так, что впереди оказалось свободное место, где в переднем углу за учительским столом расположились комиссия, секретарь комсомольской организации школы, отличник учёбы Василий Базаров (с Верхней Павловки), учителя и почти у двери несколько парт для только что принятых в комсомол моих одноклассников. Когда очередь

дошла до меня, после вопросов об учёбе и по уставу Василий задал мне вопрос о том, где сейчас мой отец. Что я могла ответить на это? И я сказала, что не знаю. Многочисленное собрание вдруг загудело, и откуда-то сзади мальчишеский голос громко сказал: «Как это ты не знаешь, где твой отец?» Я настолько растерялась, что помню только гул в классе; в голове моей что-то загудело, и я тихо ответила, что его забрали. Опять среди шума и гама вопрос с галёрки: «Почему?»

«Он был в плену», — уже со слезами смогла я ответить на такой трудный для нас с мамой вопрос. Какой же гвалт поднялся в классе! Несмотря на этот шум, секретарь комитета комсомола чётко произнёс вряд ли свои слова о том, что если бы отец не был виноват, его бы и не забрали. В этот момент я не смогла сдержаться и заплакала. На моё счастье наш любимый учитель Михаил Иванович Дедов стал успокаивать молодых патриотов, сказал: «Вы принимаете в комсомол Валю; она отличница, и кому, как не ей, быть в комсомоле»; напомнил, что И.В. Сталиным якобы произнесены слова, что дети за отцов не отвечают. После выступления Михаила Ивановича активные комсомольцы успокоились, но в Оренбург получать комсомольский билет в райкоме комсомола я не поехала; вдруг оказалось, что мне ещё не исполнилось 14 лет. Действительно, так и было, но

почему-то я сама об этом не подумала, а никто из учителей не подсказал, хотя устав я изучала тщательно и знала, что принимают в комсомол с 14 лет. Я настолько тяжело перенесла эти расспросы и бурную реакцию старшеклассников, что мне показалось, будто меня в комсомол вообще не приняли, потому домой пришла в пионерском галстуке и со слезами. Подробностей никаких маме я не рассказала, но мама плакала вместе со мной и сказала: «Наверно, и вправду тебя не приняли из-за папы». Только летом, в самый разгар каникул, из школы принесли бумажку, там сообщалось, что надо ехать в райком комсомола, где должны вручать комсомольский билет. Странно, что саму поездку я не запомнила, но как принимали, хорошо помню. Желающих пополнить ряды коммунистической молодёжи было много, но все незнакомые, видимо, учащиеся из других школ. Спрашивали об учёбе, какие книги читаю, хорошо ли знаю устав, каким должен быть комсомолец и, конечно, о секретарях компартий других стран. Домой я приехала полноценной комсомолкой; теперь мы с мамой обе активистки: она член ВКП(б), а я член ВЛКСМ. Конечно, говорю об этом без всякой иронии; всегда была добросовестной и активной комсомолкой не только в школе, но и в институте, вспоминаю то время с большой теплотой; никогда не видела ничего плохого в деятельности

такой молодёжной организации. Возвращаясь мысленно к тому тревожному собранию, я много раз приходила к выводу о том, что вряд ли те ребята, которые с таким пристрастием устроили мне допрос о папе, сами додумались до этого. Но надо сказать, что до окончания школы никакого предвзятого отношения ко мне не было, а о школе, давшей мне хорошие знания, сохранились тёплые воспоминания.

И всё же наш папа возвратился! После наших поездок в Оренбург с передачами для папы, с момента, когда маме было сказано, что он выбыл, опять наступила пора полной гнетущей неизвестности. К сожалению, точно не помню, но, возможно, шёл февраль 1953 года, когда опять поздно вечером неожиданно растворилась дверь, и в избу вбежал папа. Мама была на работе: уже несколько лет она каждое утро и вечер топила печку на бригадном дворе. Я была дома вместе с маленьким братиком Ваней и подружкой Марусей. Я вскрикнула так, что Ваня заплакал, а Маруся мигом выскочила из избы и побежала за нашей мамой. Папа подошёл ко мне, поцеловал, а Ваню погладил по голове, но на руки брать не стал, так как сам был с мороза, спросил, как назвали сына и где мама. Я успела сказать всего лишь «Ваня» и «на бригадном дворе», и папа со словами «Я за мамой!» выбежал из дома. А мама, предупреждённая Марусей, уже бежала к дому. Бригадный двор был рядом

с нашей избой, поэтому через несколько минут папа и мама были дома. Опять слёзы, но слёзы от радости. И вновь папа возвратился в рваном полушубке, старых, выдавших виды сапогах и такого же состояния шапке. Поужинали все вместе, папа всё время Ваню держал на руках. Удивительно, что Ваня, а ему уже было, видимо, более 1,5 лет, сразу пошёл к папе и всё время внимательно рассматривал. Потом, уложив его спать, пошли к бабушке Наталье. Утром мама сказала тёте Груне о нашей радости; конечно, она сразу же прибежала, сходила и за папиной старшей сестрой Олей, а часов в 11 папа пошёл в сельский совет показать документ (справку) об освобождении. Ситуация повторилась; когда папа вошёл, брат даже не встал со своего председательского места, руки не подал, молча прочитал справку, но спросил, что же он теперь намерен делать. Папа ответил, что думает работать по специальности — ветфельдшером. Точно не помню, но какое-то время папа работал плотником в детском доме, а потом до конца жизни — в ветлечебнице фельдшером, иногда подменял ветврача. Он был хорошим специалистом, читал много профессиональной литературы, мы всегда гордились тем, что его ценили, уважали, в деревне говорили: «Иван Ефремович, ты у нас настоящий академик».

Папа продолжал работать, постепенно наша жизнь стала

улучшаться: радовались каждому выращенному огурчику и тыкве, прыгающему по избе ягнёнку, купленной фуфайке. Сейчас трудно понять, конечно, не мне, а моим детям и особенно внукам, какую радость испытывали родители, когда папа купил часы, обыкновенные ходики, которые стали единственным украшением нашей избы. Подрастал Ваня, потом родились Наташа и самая младшенькая Люба; несмотря на бедность, в доме всегда пахло свежеспечённым хлебом, а главное, царили родительское согласие и взаимная любовь.

В 1956 году я окончила школу и к великой радости родителей поступила в институт, чем они очень гордились, не менее, чем я. В то время сельская местность ещё не была паспортизирована, поэтому для поступления в вуз мне, как и всем, кому приходилось уезжать из деревни, необходима была справка с места жительства, которую выдавал сельский совет, с личной подписью председателя. Мои одноклассники, решившие продолжить учёбу для получения специальности, справки получили, а я получила отказ и совет пойти работать в колхоз. Впервые я стала перечить дяде, когда осмелилась возразить ему, сказав, что он не имеет права не выдавать мне эту злополучную справку, но услышала резкий ответ: «Уж больно ты гордая и грамотная, как я погляжу, и справку ты не получишь». Со слезами пришла домой; папа был на работе, а мама,

поплакав вместе со мной, пошла в сельский совет. Каким был разговор, в каких красках и тонах, можно только представить, потому что мама очень быстро возвратилась (и, конечно, без справки). И вновь мы с мамой плакали от гнетущей безысходности; знали, что папе, тем более, если он решится пойти в сельский совет, будет с унижениями и оскорблениями отказано. На наше счастье вдруг к нам приходит мой учитель, Михаил Иванович Дедов, и приносит мне справку. Оказывается, когда мама возвращалась из сельского совета, от слёз буквально не видя дороги, встретился ей Михаил Иванович, который с тревогой спросил, что случилось, тогда она и рассказала, что и дочке, и ей Павел Ефремович отказался выдавать справку. Какими словами и вескими доводами Михаил Иванович убедил председателя, нам, конечно, неизвестно, но справка была у меня в руках, и на следующий день мы, три подружки, отправились в Оренбург подавать заявления в институт.

Так с благословения родителей и при доброй помощи Михаила Ивановича я стала студенткой физико-математического факультета педагогического института: отделение физики. Я благодарна судьбе за то, что на моём жизненном пути в трудные моменты всегда оказывался Михаил Иванович, не только как учитель, но и как умный и добрый человек. Отделение было выбрано по его настойчивой рекомендации, я мыслила

подать заявление на литфак, но он убедил меня переписать заявление, о чём я никогда не жалела: и профессия, и специальность, да и просто моя педагогическая работа всегда были в радость. В самом начале января 1960 года бабушки Натальи, перенесшей в своей жизни невероятные трудности, не стало. После её смерти родители по взаимному согласию, практически не имея средств, решили уйти с родительского «позыма», то есть покинуть место, оставив дяде землю и нашу саманную пристройку. Разобрали только свою половину избы, оставшуюся после раздела родительского дома, и переселились в другое место на левом берегу Донгуза; вроде бы там когда-то тоже жили наши родные. Папа вырыл довольно просторный подвал, сделал какую-то крышу, устроил две лежанки — нары для самих себя и для детей: Вани девяти лет и Наташи пяти с половиной лет, а маленькой Любе — люлька, так как ей ещё не было и полутора лет. Я заканчивала 4 курс, жила в студенческом общежитии, так что жильём была обеспечена, а там будет видно, как Бог даст; и на пустом подворье с мая месяца началась новая жизнь. Видимо, папа взял отпуск, поэтому в расчёте на свои силы, веря и надеясь, что к осенним холодам успеют построить саманную избу, родители приступили к работе: ручной тележкой возили глину, ведрами носили воду из речки, благо она рядом; колхоз разрешил взять старую,

оставшуюся с зимы солому, начали делать «кирпичи» — саман. Помимо этого, стали осваивать огород: посеяли лучок-резунец, огурцы, тыквы и даже картошку. Были у нас кормилица-корова Малинка, овечки и куры; и всё это жизненно необходимое хозяйство требовало заботы и ухода. Сколько сил было вложено в строительство избы, трудно представить, но мама, вспоминая тот период, говорила, что это были самые счастливые годы их супружеской жизни.

После окончания экзаменационной сессии, окончив 4 курс, я приехала домой «во чисто поле», сразу же включилась помогать: занималась огородом, как могла, старалась воспитывать младшего братика и сестричек, мяла ногами глину с соломой для заливных стен, делали и саманы. В конце июля пришла открытка из института, в которой сообщалось о том, что мне, как награда, выделена путёвка в Москву; дорога и проживание входят в её стоимость, а питание — за свой счёт; также выделяются в качестве премии деньги в размере нашей месячной стипендии. Пока я читала, женщина-почтальон, «письмоноска», как их называли у нас ещё со времён войны, улыбаясь, уже познакомила родителей с содержанием послания, недаром этот вид доставки информации называется открыткой. Прочитав известие, я молча и в растерянности протянула открытку папе, а у самой мысли о том, как же я уеду,

когда дома столько дел и нужна помощь. Но папа, угадав мои мысли и закончив читать открытку, сказал: «Поедешь. Поедешь обязательно». Вот так, с ободранными жёсткой соломой ногами, я поехала в Москву. Конечно, я была горда этой наградой, но уверена, что мама с папой радовались ещё больше. Деревенское простодушие по сарафанному радио быстро разнесло эту весть по нашему заречью, и у родителей часто спрашивали о том, правда ли, что Вале дали путёвку в Москву. Это сейчас не в диковину всякие заморские вояжи, а тогда даже в Оренбург некоторые мои одноклассницы поехали впервые только после окончания школы. После поездки в Москву я вновь уехала в Оренбург, а папа с мамой, делая всё своими руками, спешили окончить свою стройку. Папа выполнял все плотницкие работы: делал рамы для небольшого размера окон, двери из всяких дощечек; для потолочных перекладин использовал старьё от сломанной половины избы, для стропил крыши ему в лесничестве разрешили срубить сухостой и чернолесье, а сами потолки были плетнёвые, обмазанные всё той же глиной, мятой с соломой. Какой же это тяжёлый труд, но я верю, что сам Бог им помогал за перенесённые ими муки. В основном погода тем летом была сухая и жаркая, что давало возможность просушить кладку стен, потолков, а папа с мамой и младшими детьми всё лето прожили в подвале,

но к сентябрю 1960 года смогли справиться новоселье. К кому папа ходил перенимать опыт по кладке печей и голландок, не помню, но знаю, что два дня он работал с деревенским умельцем, занимаясь этим ремеслом, а затем самостоятельно и очень добротной сложил в своей избе и печь, и голландку, которые почти 15 лет работали исправно, не дымили. Вот так и стали родители обладателями своей саманной избы с невысокой крышей, покрытой толем, а площадь этих «хором» с маленькими окнами не более 16 кв. метров; передняя изба, так сказать, горница, и кухня, площадь которой — 12 кв. метров, где четвёртую часть занимали печь и небольшой самодельный стол. Надо учесть, что под кроватями стояли корзины с гусынями, насиживающими будущих красавцев-гусят, а на кухне в своё время появлялись телёнок, ягнёнок и даже поросёнок. Совместное проживание было радостным и таким счастливым, потому что это залог того, что у нас будет пусть и небогатое, но безбедное житьё. Сколько труда, заботы и любви было вложено в каждое дело! Это и есть родительский подвиг.

Почему они вынуждены были уйти из родительского гнезда на новое место? Да причина одна, та, которая делала жизнь рядом с братом просто невозможной. Не хочется повторять все эпитеты, которыми наградил старший брат младшего, хотя он перестал принародно называть его предателем

после того, как мужчины вступились за папу, пригрозив самому председателю. Презрение стало более изысканным, но молчаливым, а потому, как ни тяжело было решиться на переселение, здравый смысл подсказывал: надо уйти от греха подальше. Но жизнь продолжалась, они постепенно обустроивались на этом месте и даже «разбогатели»: к Пасхе обклеили стены простенькими обоями, купили новую железную кровать с блестящими шишечками на спинках, над кроватью сделали полог из ситца с ярко-красными, довольно крупными цветами, приобрели новые настенные часы-ходики, лампу семиметровую со стеклом-пузырём, позже керосинку, потом керогаз. А уж когда стали обладателями примуса, это был комфорт; ничего, что удобства во дворе. Кто не пережил нужду, тот не поймёт, сколько радости было в этом, и не из-за примитивности нравов — это была выстраданная радость чистого сердца.

У меня уже выпускной курс. В хорошую погоду всё так же на попутных машинах по субботам приезжала домой, но в непогоду папа не разрешал пускаться в дорогу. Только в декабре 1960 года закончилась экзаменационная сессия, затем госпрактика в Саракташской средней школе №1 почти до конца марта 1961 г., поэтому был немалый срок, когда я не приезжала домой, но общение поддерживали письмами, и папа был ответственным

«связистом». Он всегда любил быть в курсе студенческой жизни, с большим интересом расспрашивал об институте, о моих планах на будущее, впереди предстояло распределение на работу. А у меня появились другие, радостные и волнующие заботы, о которых надо рассказать дорогим родителям, посвятить их в тайны моего сердца. Волновалась очень: не знала, как и с чего начать разговор на эту, оказывается, очень трудную тему, но мудрый папа сам так просто подошёл к моей проблеме, что я как на духу, как исповедникам, легко поведала о моём избраннике, дорогом Славе. С их искреннего согласия и благословения мы 5 апреля 1961 года заключили брак, который неожиданно для нас был отмечен многолюдной комсомольской свадьбой, подготовленной секретно моими однокурсницами и друзьями-товарищами Славы. Всё было так необычно и красиво оформлено, организовано; в вестибюле нас встречали торжественным маршем; звучали музыка Мендельсона, поздравления коменданта общежития, аплодисменты студентов, проживающих в общежитии. Я ничуть не приукрашиваю и не преувеличиваю; просто тогда мы радовались такой встрече, а уж после пришло осознание того, что это означало: нас уважают, и, видимо, было за что. 1 мая, в праздничный, тёплый и солнечный день, была обычная деревенская свадьба; это нам подарок от родителей и всех близких.

Они всё организовали вскладчину; не зря свадьбы на Руси играли по осени, когда в каждой семье есть пусть и небогатые, но запасы, а к весне «зима всё съела», потому и помогали друг другу. Только в июне 1956 года вышло секретное Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении грубейших нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей», где отмечалось, что за время войны и послевоенный период были допущены вопиющие нарушения советской законности в отношении военнослужащих Советской армии и флота, Я уверена в том, что счастье остаться живым и после стольких лет разлуки и страданий вернуться домой — это нашему папе награда свыше. Да и мы были счастливы тем, что папу дождались, а оставшиеся годы, отведённые судьбой, родители прожили в любви и согласии. У нас, трёх сестёр, был брат, а у них внуки и правнуки; папа собственными руками построил дома, один — саманный, пусть

совсем небольшой, с маленькими окнами, но мама всегда повторяла, что это была самая счастливая пора их семейного союза. А позже был построен обычный деревенский дом, просторный и светлый, о каком мечтали.

Как и наш дедушка, белый казак Прокопий Акинтьевич Юров остался верным клятве, данной царю и Отечеству, так и наш дорогой папа Иван Ефремович Сычёв не изменил присяге, данной Родине. Они для нас герои и образцы служения своему народу. Не менее значим трудовой и просто житейский подвиг наших бабушек и мам; ценою их тяжёлого, но бескорыстного труда возродилась страна. И пусть нашим детям, внукам и правнукам не покажутся излишне пафосными мои рассказы, воспоминания о таком далёком и трудном прошлом; главное, надо понять и почувствовать, что в их судьбах есть добрый посыл старших поколений. Только бы им не пришлось повторить трудную судьбу наших родных, которым довелось жить в смутные времена XX века.